

ФРИДРИХ НИЦШЕ

*ГЕНЕАЛОГИЯ МОРАЛИ.
КАЗУС ВАГНЕР*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

ФРИДРИХ НИЦШЕ

*ГЕНЕАЛОГИЯ МОРАЛИ.
КАЗУС ВАГНЕР*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)
Н70

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с немецкого *Н. Полилова*

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фереца*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Ницше, Фридрих.

Н70 Генеалогия морали; Казус Вагнер / Фридрих Ницше ; [перевод с немецкого Н. Полилова]. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 256 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-149606-7

Фридрих Ницше — немецкий философ, филолог-классик, поэт, автор таких известных трудов, как «По ту сторону добра и зла», «Рождение трагедии из духа музыки», «Антихрист», «Так говорил Заратустра» и другие.

«Генеалогия морали» была задумана как приложение к работе «По ту сторону добра и зла».

Ницше со свойственной ему парадоксальностью мысли и глубиной психологического анализа развенчивает нравственные предрассудки и проводит ревизию всей европейской культуры.

В сборник вошел также «Казус Вагнер», еще одно произведение Ницше, в котором он критикует деградацию современного ему культурного пространства.

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)

ISBN 978-5-17-149606-7

© ООО «Издательство АСТ», 2025

ГЕНЕАЛОГИЯ МОРАЛИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

Мы не знаем себя, мы, познающие, не знаем сами себя: это имеет свою вескую причину. Мы никогда не искали себя — как же могло случиться, чтобы мы нашли себя? Справедливо сказано: «где сокровище ваше, там и сердце ваше»; сокровище наше там, где стоят улы нашего познания. Мы, как пчелы, как собиратели меда духовного, стремимся всегда к одному, заботимся, собственно говоря, искренне только об одном — принести что-либо домой. Кто из нас относится достаточно серьезно к жизни вообще, к так называемым «переживаниям»? Есть ли у нас на это время? Этими вещами, я боюсь, мы никогда не занимались как следует: не лежит к этому наша душа и наш слух!

Как рассеянный и ушедший в себя, когда в полдень часы бьют над его ухом двенадцать, просыпается и спрашивает себя: «Сколько, собственно говоря, били часы?» — так и мы почесываем у себя за ухом и растерянно, с изумлением спрашиваем: «Что же, собственно говоря, мы пережили?» Мало того, мы недоумеваем: «Что же мы, собственно, такое?»

Мы пересчитываем задним числом все двенадцать часовых ударов наших переживаний, нашей жизни, нашего бытия — ах! И обсчитываемся при этом... Неизбежно мы остаемся чуждыми себе, мы должны ошибаться в себе всегда, в силе остается для нас положение: «каждый наиболее чужд себе самому». По отношению к себе мы не являемся «познающими»...

2

Мои мысли о происхождении наших нравственных предрассудков — о них будет речь в этом полемическом сочинении — были впервые вкратце изложены в том собрании афоризмов, которое носит название «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов». Начал писать я эту книгу в Сорренто, зимою, когда мне удалось остановиться — как останавливается путник — и окинуть взглядом обширную и опасную страну, по которой до той поры странствовал дух мой. Это было зимою 1876/77 года; сами мысли старше. В главных чертах это были мысли, подобные тем, которые я вновь разрабатываю в этой книге, — надеюсь, что долгий промежуток был им на пользу, что они стали более зрелы, ясны, сильны, совершенны! Но то обстоятельство, что я придерживаюсь их еще в настоящее время, что сами они за это время все более сливались между собою, вросли друг в друга и срослись, — это укрепляет во мне радостную уверенность, что они с самого начала возникли во мне не разрозненно, не произвольно и случайно, но произошли от общего корня, глубокой потребности,

основной воли познания, заявляющей все определенное, требующей все более определенного. Только это достойно философа. Мы не имеем права быть в чем-нибудь разрозненными: мы не можем не заблуждаться в розницу, не находить истину. С той неизбежностью, с какою дерево приносит плоды, растут из нас наши мысли, наши произведения, наши «да» и «нет», и «если», и «кабы» — все родственные и связанные друг с другом и свидетели одной воли, одного здоровья, одной страны, одного солнца.

— Понравятся ли вам эти наши плоды?

— Какое дело до этого дереву! Какое дело до этого нам, философам!..

3

При свойственных мне сомнениях, в чем я неохотно сознаюсь, по отношению к морали, ко всему, что до сих пор славилось на земле как мораль, при сомнениях, которые возникли у меня так рано, так независимо, неудержимо, вразрез с окружающим, возрастом, примером, происхождением, что я мог бы почти с правом сказать, что это мое «а priori»*, — мое любопытство, равно как и мои подозрения, должны были со временем остановиться на вопросе, откуда, собственно, ведут свое начало добро и зло. И действительно, тринадцатилетним мальчиком я занимался уже проблемой о происхождении зла. Этой проблеме я посвятил в возрасте, когда «сердце занято наполовину игрою,

* Априори, независимо от опыта (лат.). — Здесь и далее примеч. ред.

наполовину богом», мою первую литературную детскую работу, мое первое философское упражнение. Что касается моего тогдашнего «решения» проблемы, ну, я воздал, как и следовало, богу честь и сделал его отцом зла. Требовало ли этого от меня мое «а priori», то новое безнравственное или по меньшей мере ненравственное «а priori» и говорящий в нем, увы, столь антикантовский, столь загадочный «категорический императив», к которому я в то время все больше прислушивался, и не только прислушивался?..

К счастью, я своевременно научился отделять теологический предрассудок от нравственного и не искал более источника зла позади мира. Небольшие исторические и филологические навыки, в связи с врожденной разборчивостью относительно психологических вопросов вообще, вскоре обратили мою проблему в другую: при каких условиях изобрел человек эти определения, ценности, добро и зло? И какую они сами имеют ценность? Тормозят они или содействуют процветанию человечества? Являются ли они признаком нужды, бедности, вырождения жизни? Или, наоборот, проявляется в них полнота, сила, воля к жизни, ее бодрость, уверенность, будущность?

На эти вопросы я нашел, я имел смелость дать разные ответы, я различал времена, породы, разные достоинства индивидов, я специализировал свою задачу, ответы обращались в новые вопросы, исследования, предположения, вероятности. Наконец я приобрел собственную область, собственную почву, целый скрываемый, развивающийся, цветущий мир, подобный тайным садам, о которых никто

не должен был ничего подозревать... О, как счастливы мы — мы, познающие, при том, конечно, условии, если мы умеем достаточно долго молчать!..

4

Первый толчок обнародовать кое-что из своих гипотез относительно происхождения морали дала мне ясная, опрятная и умная — старчески умная — книжечка, в которой я впервые ясно наткнулся на своеобразную английскую разновидность генеалогических гипотез наизнанку, и это привлекло меня тою притягательною силою, какой обладает все противоречащее, все противоположное. Заглавие книжки было «Происхождение нравственных восприятий», автор д-р Рэ (Paul Rée); год издания — 1877-й. Может быть, мне никогда не приходилось читать что-либо, где до такой степени, как в этой книге, на каждую фразу приходилось говорить про себя «нет», но делалось это без раздражения и нетерпения.

В указанном раньше произведении, над которым я тогда работал, при случае я касался положений этой книжки, не опровергая ее — какая мне надобность опровергать! — а, как подобает Положительному уму, ставя вместо невероятного более вероятное, а иногда и вместо одного заблуждения другое. Тогда, как сказано, я впервые обнародовал те гипотезы о происхождении морали, которым посвящена эта работа, делая это неловко — меньше всего желал бы я скрывать это от самого себя, — еще несвободно, не выработав еще своеобразного языка для этих своеобразных вещей, часто сомневаясь и колеблясь.

В сущности, я был занят тогда гораздо более важным вопросом, чем свои или чужие гипотезы о происхождении морали, или, вернее, последнее было только одним из средств для достижения определенной цели. Для меня был важен вопрос о ценности морали, а относительно этого мне приходилось считаться только со своим великим учителем — Шопенгауэром, — против которого, как живого противника, и была направлена моя книжка, ее страсть и ее скрытые возражения. (Это было также полемическое сочинение.)

Дело шло особенно о ценности «неэгоистического», об инстинктах сострадания, самоотречения, самопожертвования, которые именно Шопенгауэр так долго подкрашивал, боготворил, переносил в потусторонний мир, пока наконец они не остались у него как «самостоятельные ценности», которые и привели его к отрицанию жизни и себя самого. Но именно к инстинктам во мне росла все более глубокая подозрительность, скрытый скептицизм! Именно здесь видел я опасность для человечества, его высшую приманку и искушение — но к чему? К отрицанию? Именно здесь видел я начало конца, остановку, оглядывающуюся назад, усталость, восстание воли против жизни, нежно и уныло заявляющей о последней болезни. Я понял, что все более распространяющаяся мораль сострадания, охватывающая даже философов и лишаящая их здоровья, представляет ужаснейший симптом нашей ужасной европейской культуры, кружной путь к новому буддизму. К буддизму европейцев? К нигилизму?..

Это современное предпочтение и переоценка философами сострадания — нечто совершенно новое. До сих пор философы были согласны именно в отрицании ценности сострадания. Назову только Платона, Спинозу, Ларошфуко и Канта: эти умы в высшей степени различные, но согласные в одном — в низкой оценке сострадания.

6

Эта проблема ценности сострадания и морали, построенной на сострадании (я враг позорной современной чувствительности), кажется чем-то случайным, сомнительным; но кто остановится перед этим, кто поставит вопрос — тот испытает то же, что и я: перед ним открывается ужасная новая перспектива, возможность охватывает его, как головокружение, возникают всевозможные подозрения, недоверие, страх, колеблется вера в мораль, всякую мораль. Наконец, возникает новое требование. Выскажем его, это новое требование: нам необходима критика моральных ценностей, надо наконец усомниться в самой ценности этих ценностей. Для этого мне необходимо знание условий и обстоятельств, из которых они возникли, среди которых они развились и переместились, знание, которого до сих пор не было и в котором не ощущалось потребности, знание морали как следствия, симптома, маски, лицемерия, болезни, недоразумения, но также и морали как причины, целебного средства, известного стимула, как тормоза, как яда.

Ценность этих «ценностей» принимали за данность, за факт, считали ее несомненной; до сих пор

нисколько не сомневались и не колебались считать «хорошего человека» более ценным, чем «дурного», более ценным в смысле успеха, полезности, успешности по отношению к человеку вообще (в том числе и будущности человека).

Как? А если бы было справедливо обратное? Если бы доброе было симптомом регресса, а следовательно, представляло опасность, соблазн, яд, одурманивающее средство, посредством которого современность живет за счет будущего? Может быть, живет удобнее, более безопасно, но и в более мелком стиле, пошлее?..

Не мораль ли виновна в этом, что никогда не будет достигнута возможная сама по себе мощь и красота типа «человек»?

Не является ли мораль опасностью самую опасную из всех опасностей?..

7

Довольно сказать, что сам я, когда передо мной открылась эта перспектива, имел основание искать ученых, смелых и трудолюбивых товарищей (это я делаю и в настоящее время). Необходимо исследовать путем новых вопросов и с новой точки зрения огромную, обширную и скрытую страну морали — действительно существовавшей, действительно жившей морали. Не все ли это равно что открыть вновь эту страну?..

Я думал при этом, между прочим, и об этом упомянутом д-ре Рэ, так как не сомневался вовсе, что сама природа его вопросов натолкнет его на правильный метод, чтобы получить ответ. Ошибся

ли я в этом? Во всяком случае, я желал дать этому острому и беспристрастному взгляду лучшее направление, направление истинной истории морали, и вовремя предостеречь его от английских бесцельных гипотез, уходящих в голубую даль. Понятно ведь, какой цвет во сто крат важнее для генеалого морали, чем именно голубой: нужен цвет серый, я хочу сказать, документальный, могущий быть действительно установленным, действительно бывший, одним словом, вся длинная, трудно расшифровывающаяся иероглифическая рукопись прошлого человеческой морали!

Это прошлое было неизвестно д-ру Рэ. Но он читал Дарвина. Таким образом, в его гипотезах по меньшей мере забавно, что дарвиновская бестия и наисовременнейший скромный нравственный неженка, который «не кусается», подают вежливо друг другу руку; последний делает это с выражением известного добродушного и утонченного равнодушия на лице, к которому примешивается доля пессимизма, усталости, как будто бы вовсе не стоит так серьезно относиться ко всем этим вещам — проблемам морали.

Мне, напротив, кажется, что нет предмета, который более вознаграждал бы серьезное к себе отношение, ведь немалая, например, награда заключается в том, что со временем можно будет, вероятно, весело отнестись к морали. Веселость, или, употребляя мою терминологию, радостная наука, является наградой, заслуженной ценою долгой, смелой, трудолюбивой и подземной серьезности, к которой, конечно, способен не всякий. В тот день, когда мы от чистого сердца можем сказать: «Вперед! Вся наша старая мораль — простая комедия!» — мы откроем

новое осложнение и новую возможность для вакхической драмы «Участь души». Она-то сумеет использовать ее, можно побиться об заклад, она — великий, старый, вечный сочинитель комедий нашего существования!..

8

Если книга эта кому-либо непонятна и плохо усваивается, то, мне кажется, вина в этом падает не обязательно на меня. Она достаточно ясна, при том, конечно, условии, которое я имею в виду, чтобы предварительно были прочитаны мои другие книги и чтобы читатель при этом не пожалел труда. Те книги действительно не легко доступны. Только того, например, я признаю знатоком моего «Заратустры», кого когда-либо глубоко задело или когда-либо глубоко восхитило каждое слово этого произведения. Только в таком случае он воспользуется преимуществом стать благоговейным участником стихии, из которой родилось это произведение в его солнечной яркости, широте и достоверности.

В других случаях затрудняет форма афоризмов: затруднение в том, что к форме этой относятся слишком легко. Афоризм, правильно отчеканенный и отлитый, требует не простого прочтения, а «расшифровки». Здесь именно должно начинаться истолкование, для которого требуется особое искусство.

В третьей части этой книги я даю образчик того, что я в этом случае называю «истолкованием», — этой части предшествует афоризм, сама она — комментарий к нему. Конечно, чтобы пользоваться, таким образом, чтением как искусством, необходимо